

**А.С. СЕРАФИМОВИЧ**

---

---

## Александр Серафимович Серафимович

# Великая Отечественная война

Серафимович (настоящая фамилия — Попов) Александр Серафимович (1863 — 1949), прозаик.

Родился 7 января (19 н.с.) в станице Нижне-Курмоярской. Области Войска Донского, в семье казачьего есалула. Детские годы провел в казачьих полках в Польше. В 1873 семья вернулась на Дон в станицу Усть-Медведицкую. Поступил учиться в классическую гимназию.

Смерть отца и материальные лишения осложнили жизнь, но гимназию окончил и в 1883 поступил на математическое отделение физико-математического факультета Петербургского университета. Чувствуя нехватку знаний, посещает дополнительные лекции отдельных профессоров на юридическом и естественном факультетах и штудировал общественно-экономические науки. Сближается с революционно настроенными студенческими кругами. В 1887 был привлечен к дознанию по делу А.Ульянова и сослан в Архангельскую губернию под надзор полиции, где пробыл три года.

Вернувшись на Дон (1890), установил связи с местными народовольческими группами, ведущими пропаганду среди рабочих.

Впечатления от ссылки нашли отражение в его первых рассказах — "На льдине" (1889), "Снежная пустыня", "На плотях" (1890), отмеченных Успенским и Короленко. В эти годы работает в провинциальных изданиях "Донская жизнь", "Приазовский край", живет уроками. В 1901 выходит первая книга Серафимовича — "Очерки и рассказы", — решившая судьбу писателя: он переезжает в Москву (1902) и всецело отдается литературной и журналистской работе.

Знакомится с Горьким, сотрудничает в издательстве "Знание", которое в 1903 — 08 выпустило трехтомник его рассказов.

Во время первой мировой войны был на фронте в составе санитарного отряда, о чем позднее напишет в очерках и рассказах.

С первых же дней Октябрьской революции активно включился в культурное строительство молодой республики: заведовал литературно-художественным отделом "Известий", агитмассовым отделом Моссовета, был военным корреспондентом "Правды".

Главной книгой Серафимовича стал роман "Железный поток", который он писал два с половиной года (опубликован в 1924), стремясь передать правду "...не фотографическую, а... синтетическую, обобщенную".

В 1930-е Серафимович выступил с серией очерков о коллективизации — "По донским степям", с рассказами о прошлом и настоящем.

Во время Отечественной войны, несмотря на свой преклонный возраст — более 80 лет, — выезжал на фронт в район Орловской битвы. Умер А.Серафимович в Москве 19 января 1949.

# Содержание

КЛЯТВА . . . . .	.0006
РЕБЕНОК . . . . .	.0011
ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЬ . . . . .	.0020
ТВОРЧЕСТВО . . . . .	.0028
ЮНАЯ АРМИЯ . . . . .	.0038
НА ХУТОРЕ . . . . .	.0053

# Великая Отечественная война

# КЛЯТВА[1]

Пришлось мне побывать в Курской области. Пригласили меня в село Беседино, центр Бесединского района, на праздник юных животноводов.

Нудно покрапывал дождик. На деревянной незамысловатой трибуне стояло руководство района, учителя, гости.

В разных местах большой площади около повозок толпились школьники, краснели галстуки.

В первый раз попал я на праздник шефства школьников над колхозными телятами, жеребьятами, кроликами, гусями и пр.

Ребятишки нежно любят своих питомцев. Утром и вечером приходят перед школой и после школы их кормить, вычищают стойла, подстилают свежей сухой соломы, чистят скребницей, потом щеткой. И как эти сытые, с блестящей шерстью телки, овцы, жеребьята привязались к своим шефам! Мальчуган спрячется среди товарищей и подаст голос. Телка приподнимает лопухие уши, кинется в толпу ребятишек и расталкивает лобастой

головой, а найдет — лижет ему шершавым языком лицо, руки, трется головой, а он ее обнимает, и стоят, прижавшись, два друга.

Я радовался, да вдруг приостановился: а какой ценой все это покупается? Что, если ребяташки понизили успеваемость, расшаталась дисциплина?

Я стал спрашивать, и все — учителя, колхозники, ребяташки, руководящие районные работники — с воодушевлением рассказали: успеваемость резко повысилась, дисциплина — полная. По району сто шестьдесят пять учеников отставали по учебе и были недисциплинированы, а теперь они — шефы, учатся на «отлично» и «хорошо», отличная дисциплина. Тем ребятам, у которых были пониженные успеваемость и дисциплина, не давали шефства. Это — огромное для них горе...

— Что это?! Что это?..

Все повернули головы, глаза потянулись к далекому перелеску. В смутной дымке покрапывавшего дождя вынесся из-за поворота полуэскадрон. Лошади стлались. Скакали по два в ряд.

Все радостно ахнули:

— Это ребятишки!..

Ближе, ближе... Скачут охлюпью без седел, но не подкидывают, как обыкновенно в деревне, локтями, не хлопают по бокам лошади пятками, — сидят как влитые. Подскакали, натянули поводья, лошади послушно стали как вкопанные. Да ведь это же готовые кавалеристы! Готовые, обученные кони! Ребятишки учат их еще маленькими жеребятами брать барьеры, канавы. Колхозники, гости обступили ребят и их питомцев. Кони слегка помахивают головами, ласково трутся о плечо.

Один из приехавших гостей говорит:

— Вот не думал встретить такое...

Старик колхозник вздохнул и виновато улыбнулся:

— Да мы сами думали: зря ребятишек смущают, не будут учиться.

Колхозники, колхозницы загалдели:

— А теперь радуемся...

— Учатся-то как...

— Дома его не узнаешь, — то, бывало, чего ни скажешь — огрызается, а теперь так успокоительно говорит — душа радуется.



Поднялся учитель Криволапов и, напрягая голос, громко заговорил:

— Граждане и гражданки!

И слышно было по всей площади:

— ...Дети наши учат нас. По животноводству они выводят наш район в первые ряды. До шефства у нас был падеж молодняка, и не малый, много молодняка было с желудочно-кишечными заболеваниями, — теперь ни того, ни другого нет, растет крепкий, здоровый молодняк. Поклянитесь же, что вы всеми силами поддержите своих детей, и наш район даст прекрасных боевых лошадей любимой защитнице, нашей Красной Армии.

И вся площадь дрогнула от взрыва голосов, и лес рук встал над головами:

— Клянемся!

— Граждане и гражданки!.. Колхозники и колхозницы! Поклянитесь перед Красной Армией, перед всем нашим трудовым народом, что в самый короткий срок снимете и уберете с полей ваш урожай!..

И от взрывов голосов зашелестели деревья. Поднялись руки:

— Клянемся!

— Граждане и гражданки!.. Колхозники и колхозницы! Все ребята, все школьники, все пионеры! Поклянитесь перед нашей партией, что отдадите все ваши силы, все ваше напряжение, а если понадобится, и самую жизнь, труду и борьбе за счастье, свободу и радость нашей прекрасной родины...

И грянуло неслыханное:

— Клянемся!.. Клянемся!.. Кляне-ом-ся!!

Это было недели за три до 22 июня 1941 года — начала войны. И когда хлынули в наши дивизии призывные, я подумал: родная страна их готовила... давно.

## РЕБЕНОК[2]

**М**ы проехали железнодорожный мост через реку Иловлю. У нас был громадный эшелон: тысяча эвакуируемых из детдомов ребят и около трехсот красноармейцев.

Солнце невысоко стояло над голой степью. По вагонам собирались завтракать. Раздался сдвоенный взрыв. Потом еще и еще. Поезд остановили Дети, крича, посыпались, как горох, из вагонов. Дальше выскакивали красноармейцы. Все залегли по степи.

Белый дым зловеще стлался над железнодорожным мостом. Пятнадцать вражеских самолетов громили мост. Заговорили наши зенитки. Шрапнель падала с высоты трех-четыре-х километров. Попадись ей — насмерть уложит.

Я старался отбежать возможно дальше от вагонов, по крышам которых тарахтела сыпавшаяся шрапнель. Маленькая девочка пяти с половиной лет, нагнув головенку, крепко держась за мою руку, торопливо мелькала бо-сыми ножками. На ней были только трусики: выскочили из вагонов в чем были.

Мы прижались к земле. Взрыв несказанной силы потряс всю степь. Было секундное ощущение, что вывернуло грудь. Если бы стояли, нас бы с силой ударило о землю воздушной волной. Громадно протянулся через речку, зловеще крутясь, волнисто-дымчатый вал. Моста в нем не видно было. Лежавший недалеко красноармеец поднял голову, посмотрел на белый вал и сказал:

— Не иначе как больше тонны бомба, невероятной силы. Мост как слизнуло!

Били зенитки. Большинство стервятников кинулось в сторону и вверх и улетело. Штук пять бросились на мирный рабочий поселок, и там сдвоенно стали взрываться бомбы. Черные густые клубы дыма все застлали, и огненные языки, прорезывая, вырывались вверх. Улетели и эти. Только один, черно дымя, штопором пошел книзу.

— По ва-го-нам!

Вся степь зашевелилась, быстро потекла к эшелону. Я тоже бежал, крепко держа за руку Светлану. Она, нагнув голову, изо всех детских сил мелькала босыми ножками. Добежали до полотна. Поезд шел уже полным хо-

дом. Поднял вдали и пропал. Кругом — пустая степь. Мы одни. Слишком далеко забежали от эшелона. Черный дым густо клубился над поселком, разрастаясь, и огненные языки все чаще высывались, пожирая крытые соломой избушки.

Делать нечего. Мы пешком пошли по полотну на другую станцию, расположенную в одиннадцать километрах. В Иловле бушевал пожар, и было не до нас. Нестерпимым зноем дышал песок. Мучительно блестели рельсы. Вдруг Светлана села на обжигающий песок, и крупные, как дождевые капли, слезы прозрачно повисли на ее выгнутых ресницах. Она зарыдала, смачивая мою руку горячими слезами.

— Что ты? Что с тобой?

Я ее гладил по головке, вытирал слезы, а она плакала навзрыд.

— Да что с тобой?

Сквозь рыданья она едва выговорила:

— У нее головы нету...

— У кого, дружок мой?

— У нее, у девочки...

— Постой, что ты, где?

— Когда бомбили, знаешь, на Медведице мост? Дети потом, как улетели немцы, побежали смотреть, и я побежала. Мост крепко стоит, а где жили рабочие, все сгорело. А детишки в проулке играли; немцы бросили на них бомбы. А у детишек полетели руки, ноги, а у одной девочки нет головы. А мама ее прибежала, упала, обняла ее, а головы нет, одна шея. Маму хотели поднять, а она забилась, вырвалась, упала на нее, а у нее только шея, а головы нету. А другие мамы искали от своих деток руки, ноги, кусочки платица...

Она перестала плакать. Вытерла тыльной частью руки слезы и сказала:

— Дедушка, я кушать хочу.

— Милая моя, да у меня ничего нету. Давай пойдем скорее, может, на станции буфет есть, что-нибудь достанем.

Мы торопливо шли, и она опять семенила босыми ножками, нагнув в напряжении голову. Зной заливал степь. Показался разъезд. Одиннадцать километров прошли. Несколько красноармейцев с винтовками, сменившись с поста, сидели в тени. Светлана с искаженным лицом вся затрепетала от ужаса, схватилась

за красноармейца и обняла его и винтовку:

— Он опять, он летит!

— Где ты видишь? Небо — чистое.

— Я слышу: «Гу-у-у... Гу-у-у...»

Да, он летел очень высоко, вероятно, разведчик, посмотреть — что с мостом. Она верно передала тот мертвенно-траурный волнообразный звук, который враг тяжело влечет за собой. Чтобы как-нибудь ее успокоить, я повторил:

— Да нет же, никого нет. Небо — чистое.

— Фу ты! Ты, дедушка, глухой. Ты, дедушка, не велишь мне говорить неправду, а сам обманываешь. Он летит, чтобы сбросить на этот домик бомбу, и у меня головы не будет.

Она иступленно рыдала.

— Вот пожар, детишки валяются...

Красноармеец гладил ее головку, и она заснула, все так же обняв красноармейца и винтовку, по-детски жалобно всхлипывая во сне. Красноармейцу было неудобно сидеть, но он не шевелился, чтобы не потревожить ребенка. Тени стали короче. Красноармейцы, согнувшись, сидели молча, держа винтовки между колен. Постарше — у него на висках

уже пробивалась седина — сказал:

— Вот что страшно: мы наминаем привыкать, ко всему привыкать: дескать, война, и что ребята валяются — тоже, мол, война.

— Ну, к этому не привыкнешь.

— То-то не привыкнешь... Думаешь, только те дети несчастны, что в крови валяются? Нет, брат, немецкие зверюги ранили все нынешнее поколение, ранили в душу, у них в сердце рана. Понимаешь ты, все эти немцы вместе с Гитлером сгниют в червях, и все. А у детишек наших, у целого поколения рана останется.

— Ну, так что же делать-то?

— Как, чего делать! Горло рвать зубами, не давать ему передыху. Их сегодня штук пятнадцать было, а сбили только один. Это как?

— Зенитки на то есть.

— Зенитки есть... Сопли у тебя под носом есть... Из винтовки бей, приучись, приучи глаз, Что же — мало, что ли, наши их из винтовок сбивают?.. Есть у тебя злость — собьешь. Вот малышка маленькая учит тебя, прибежала, а ты: «Зенитки».

У всех глаза были жестко прищурены и гу-



бы сжаты, точно железом их стянуло. Помертвело. Один красноармеец привстал, замахал рукой. Конный патрульный, ехавший по степи, привернул к переезду. Еще он не подъехал, а красноармеец закричал:

— Здорово мост разбомбили?

Патрульный молча слез с лошади и, кинув поводья на столбик, присел в тени, повозился в шароварах, достал мятую бумажку, расправил на коленях и молча протянул соседу. Сосед с готовностью насыпал ему табачку. Он с наслаждением затянулся и сказал:

— Мост целехонек. Давеча из-за дыма его не видать было. Самый пустяк колупнули при въезде. А вечером поезд пойдет.

— Ого-го, здорово!

Глаза повеселели.

— Я говорю: они, сволочи, и бомбить не умеют.

Патрульный сдунул пепел.

— Мост-то они не умеют бомбить, а вот поселок рабочий весь дочиста сожгли. Народу погибло, ребятишек... Сейчас все ковыряют в углях. Обгорелые трупы тягают. Кур, гусей, коров.

— Чего не разбежались?

— Они, зверюги, чего делают: все самолеты летают по краю поселка и зажигают, а потом — середину. Крыши соломенные, везде солома, сено, плетни, — как порох, вспыхнет, и бежать некуда. В конце и посреди — огонь.

Девочка проснулась, протерла глазки и сказала:

— А пожар?

— Пожар сгас.

— А детишки?

Патрульный только было рот раскрыл, красноармейцы разом загалдели:

— Никого не тронули, все в вербы убежали, к речке.

Девочка шлепнула в ладоши и сказала:

— Дедушка, я кушать хочу.

Красноармейцы завозились, раскрыли свои мешки. Кто протянул ей белый сухарь, кто — кусочек сахара. У одного конфетка нашлась. Маленькая сидела на скамейке, болтала ножками и по-мышьиному похрустывала белым сухарем. Красноармеец сказал, ни к кому не обращаясь:

— Теперь бы в атаку пойти!

Все молчали.

Составитель махал нам флажком.

— Никитин, садитесь во второй от хвоста вагон, на сене выпитесь.

# ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЬ[3]

Последнее время на этом участке фронта в Верховьях Дона стояло затишье. И вдруг на рассвете после тяжелой темной ночи раздался залп фашистской артиллерии. Второй, третий — и пошла потрясающая пальба.

Что это! Наступление?.. По нашей линии все напряглось в ожидании, в приготовлении к отпору. Всех: и бойцов, и командиров, и артиллеристов, и минометчиков, — всех, кто ни находился на линии фронта в окопах, в дотах, и дзотах, и в тылу, поражала ничем не объяснимая вещь: фашистская артиллерия бьет не по нашим укреплениям, не по вашим огневым точкам, а по чистому полю, бьет по голому полю, которое раскинулось между нашей и вражеской линиями. Поле — пустынное. Кое-где темнеют голые кустики да виднеются небольшие ложбинки, а в них и котенок не спрячется. Но с потрясающей силой бьет фашистская артиллерия в чистое поле как в копеечку. Гигантские глыбы черной земли страшной тяжестью взлетают в черных облаках дыма и пыли, и после них зловеще ды-

мятся глубокие провалы. Поле разворочено, как будто плуг нечеловеческой громады прошел по нему.

Бойцы безбоязненно высовывались из окопов, с изумлением оглядывались друг на друга.

— Да что за черт!

— В чистое поле как в копеечку...

— Это же денег стоит...

— Фриц сбесился!..

— Без ума жил, с ума сошел.

— Рехнулся...

Бойцы ничего не понимали.

Долго враг бил по пустому месту, разворачивая все новые места на чистом поле, долго глядели и удивлялись бойцы.

...Прошлая ночь была черна и туманна. В этой тьме стоит тишина одинаково над нашими и немецкими окопами. И одинаково прислушиваются в тех и других невидимые часовые. Да вдруг посыплется во тьме пулеметная очередь или высоко вскинется ракета, осветив мертвенно-голубоватым светом дымчатый туман. И опять — мутная тьма; ни звука.

В глухом, не выделяющемся во тьме блиндаже судорожно шныряют по стенам уродливо дрожащие тени от коптилки. Командир говорит:

— Между нами и немцами стоит наш неповрежденный танк. В нем лежат погибшие товарищи. Кто-то из них с автоматом в руке открыл люк, видимо хотел стрелять по немцам. В открытый люк влетела граната подбравшегося врага. Наши товарищи все от взрыва погибли. Немцы не стали бить из пушек по танку, все надеются целым приволочь к себе. Мы тоже не разбиваем, все надеемся возвратить, опять будет служить нашей Красной Армии. Товарищей, павших смертью храбрых, с честью похороним. Надо его доставить, не вызвав оружейного огня. Нужно послать человек десять, пятнадцать. Надо вызвать добровольцев.

— Товарищ Якименко, поговорите с бойцами. Да чтоб не курили...

Якименко вышел, осторожно притворив дверь. Тени судорожно бродили по стенам. Командир, опершись подбородком на руки, глядел красно набрякшими от бессонницы

глазами, не мигая, на разложенную по грубо сколоченному столу карту. Минут через десять бойцы толпой осторожно протиснулись в дверь.

— Ну, подобрались?

— Вот пятнадцать человек бойцов пойдут.

Выступил совсем молоденький, с озорными глазами, боец. По лицу бегали тени.

— Товарищ командир, разрешите доложить?

— Ну?

— Я доставлю танк. Мне не нужно этих пятнадцати. Куда такую ораву! Все равно катить такую махину не сдюжаем, а суматоху наделаем на всю округу.

— Так чего же тебе? Один, что ли?

— Двух товарищей, шоферов, разрешите, товарищ командир, взять.

Командир поднял отягченные веки, тяжело посмотрел на него:

— Как только заведете, заревет немецкая артиллерия, сейчас же разобьет — под самым носом ведь у них, и пристрелялись.

— Нет, товарищ командир, тишина будет нерушимая.

— Как же это?

— Разрешите доложить, когда выполню задание.

Командир подумал:

— Ладно, ступай. Ответственность на тебе.

— Есть, ответственность на мне.

Трое вышли и потонули в недвижимой мгле. Человеческого дыхания не было слышно. Не зашелестит помятая трава — все тот же непроницаемый мрак. Трое осторожно, по-кошачьи, ступали согнувшись или ползли на брюхе, останавливаясь и прислушиваясь — беспредельный мрак, океан молчания. Но пробиравшиеся бойцы знали: в этой беспредельности — напряженное внимание. И вдруг вспыхнет мертвенно-голубоватым светом ракета, посыплется короткая пулеметная очередь. Трое бросаются на землю и лежат не шелохнувшись. И опять тьма...

Они скорее почувствовали, чем увидели, черный сгусток среди ночи. Ощупали: да, танк. Сдерживая дыхание, один влез в танк. Пахнуло могильным холодом. Вывернул в моторе свечи. Теперь компрессии не будет, мотор не заведется, не заревет. Потом включил



задний ход — невидимой пушкой танк глядел на невидимые вражьи окопы. Потом вылез и вдвоем взялись за заводной ключ, стали тихо и напряженно проворачивать вал мотора. И танк неосяземо двинулся задом от окопов, но так неуловимо, как будто, не слушаясь ключа, стоял на месте в молчавшей темноте. А те все так же медленно и напряженно крутили, задерживая дыхание, и горячий пот бисером проступил на лбу. Когда сердце больно стало стучать, один переменялся, и так же беззвучно медленно стали крутить. Если бы посмотреть на танк днем, его движение было бы так же неуловимо, как движение минутной стрелки часов, которая, кажется, стоит на месте. И все покрывала ночь своей непроницаемостью. Как ни незаметно, ни неуловимо двигался танк, к рассвету, когда едва обозначились края черных туч, он дополз до нашей позиции. Юнец с озорными глазами явился к командиру.

— Разрешите, товарищ командир, доложить?

— Ну, говори, говори. Как?

— Задание выполнено. Танк доставлен це-

лым и невредимым.

— Как же это вы ухитрились?!

Боец рассказал.

— Молодцы ребята! Будете представлены к награде.

Только он это сказал, на вражеской позиции грянул артиллерийский залп. Потом еще, еще.

Все засуетились.

— Наступают, что ли?

Прибежал запыхавшийся боец.

— Дозвольте доложить, товарищ командир. Артиллерия ихняя бьет не по окопам нашим, а по пустому месту, где стоял танк. Все место изрыли.

Командир вышел, стал смотреть в бинокль. Залпы сотрясали поле.

— А ведь сбесились!..

На другой день наша разведка привела двух «языков». На допросе они согласно показали: когда утром совсем рассвело, немцы глянули, ахнули: танк исчез. Немецкое начальство сейчас же арестовало часовых. Стали ломать голову, куда же делся танк. Уехать на нем не могли, мотор бы ревел, гусеницы

бы лязгали, поднялась бы тревога. Откатить на руках не могли: такую махину не сдвинешь. Взять на буксир тоже не могли, буксир поднял бы рев. Долго ломали головы. Один из офицеров сделал предположение, единственно приемлемое: русские — хитрый народ... они просто замаскировали танк. Поле местами покрыто кустарником, кочковатое, в ложбинах. Русские подкопали танк, он опустился. Сверху накидали земли, натыкали кустов, и танк исчез. Начальство немецкое приказало обстрелять из орудий поле, где можно было предположить замаскированный танк, чтобы обнаружить его. Заревели орудия.

Когда наши бойцы узнали, как опростоволосились немцы, грянул такой ядреный хохот, что поле опять задрожало: хохотала пехота, хохотали артиллеристы, хохотали минометчики, улыбались командиры. Веселый был день.

# ТВОРЧЕСТВО[4]

Какая строгая река Ока! Какие у нее богатства! Стройные, вознесшиеся по берегам суровые сосны, с темными верхушками под бегущими облаками. Могучие поля. Здесь живут люди, не знающие старой затхлой нищеты, убогости, тьмы, невежества.

Мы подъезжаем к совхозу «Зендиково», по имени соседней деревни Зендиково, под самой Каширой. Но что это?! Или я не туда попал? Я знаю историю этого совхоза. Он был — полная чаща: тысяча свиней, коровы, телята, лошади, постройки для рабочих, для скота, для фуража, полеводство, огороды, парники, сады. Стали подступать в 1941 году к Москве немцы, стали бить из орудий по Кашире, по совхозу. Вошли в совхоз. А когда, бежали под ударами Красной Армии, совхоз был пустым местом — ни построек, ни корма, ни продовольствия, лишь стоял старый с белыми колоннами дом (совхоз помещается в старинной помещичьей усадьбе). Красные раны его кирпичных стен от орудийного обстрела и черные безглазые окна далеко были видны

по старинной липовой аллее.

Надо было собирать совхоз наново и возможно скорее, ибо продукция его идет в Красную Армию. Но откуда же взять денег, материал, поголовье, транспорт, машины? Ведь у правительственных организаций каждая копейка, каждый станок, машина, доска на счету, — война. Каждый это понимал. А надо было из положения выходить. И вышли.

Все рабочие, все служащие, все специалисты, все, от уборщицы до директора, трудились, не зная ни сна, ни отдыха. Бросались во все стороны, всеми правдами и неправдами стали добывать свиноматок. Но кто же даст хороших маток? Набрали с бору да с сосенки костлявых, с нищенским приплодом. А за год сумели из их все улучшавшегося приплода создать стадо свиноматок в тысячу голов с приплодом в десять и больше отличных поросят.

Я хожу по свинарнику. Чистота, а когда разговариваешь со свинарками, чувствуешь их уверенность в себе, уверенность в своих знаниях, которые приобретены тут же, во время работы.

— Как же вы умудрились за год так улуч-

шить породу?

— Что ж тут такого? Мы достали очень породистых производителей, а главное — уход и отбор приплода. Видите, какие поросята упитанные, крупные, а послабее — мы их на откорм, потом режем, приплода от них не допускаем. С кормами плохо, прежде вдобавок к нашим кормам нам еще подвозили, а теперь, как война, нам ничего не дают; спиртовой завод, с которого мы получали барду, закрыт. Тут уж трудно стало. Директор наш, товарищ Пронкин, бьется как рыба об лед, сам ежедневно составляет рацион свиньям: то одно, то другое, какая пища полезнее из того, что есть, — все опытом. Оттого и большой привес. Уж в лепешку разобьется, а корма достанет. Ну, поросята и прирастают сверх плана.

Встречаюсь с пчеловодом. Сын крестьянина. Морщины труда, трудовой заботы легли на худое лицо. Он пчелу знает насквозь, она ему послушна и трудолюбива. Она наполнила полторы сотни ульев, обильно дала государству мед.

Вечером я сижу в кабинете агронома, Антона Ивановича Очкина. Какой там каби-

нет, — просто холодная комната, холодный стол да несколько таких же холодных стульев.

У Антона Ивановича такое худое лицо в морщинах, которые старят его. Очки на заострившемся носу придают ему еще более старческий вид. Но это первое впечатление тотчас же меняется, как только узнаешь его работу, его чудовищную настойчивость, напористость. Он весь поглощен своей специальностью, — в ней его жизнь, радость, счастье, в ней у него весь мир.

Кругом сидят женщины, с закутанными в платки головами. Все — полеводы. Есть кончившие семилетку, есть малограмотные, а есть совсем неграмотные, но все сжились со своей полеводческой работой, прекрасно работают.

Антон Иванович, близоруко и ласково глядя сквозь очки, разговаривает с бабушкой Урыловой. Она неграмотная, и зубов нет, — ей семьдесят лет. Когда еще девчоночкой работала у помещика, ее осенью заставляли жать камыш: вода холодная, пиявки поприлепятся и сосут кровь, и однажды она еле вы-

бралась на берег и упала без сознания, — много высосали. Антон Иванович ласково и ехидно спрашивает ее:

— Как у вас с фекалиями? И зачем они вам?

— Да как же! Надо же подкормить растения, а там азот.

Бабушка с фекалиями, с фосфатами, с подкормкой растений — запанибрата, дает рассаду всему колхозу и перевыполняет план в два-три раза. Когда пришли немцы, бабушка Урылова ухитрилась спрятать, помимо других семян, две тонны одного луку, а когда их прогнали, принесла Красной Армии в подарок тонну луку и остальным луком сумела обсеменить все парники и обеспечить огороды. Бабушка училась обращаться с растениями у Антона Ивановича, а теперь Антон Иванович в затруднительных случаях бежит к бабушке советоваться.

И все женщины, сидящие здесь, так же напряженно, просто и умело работают, и полеводство, огородничество в совхозе удивительно растут. Да и как не расти? Антон Иванович спрашивает их, все так же ласково глядя



СКВОЗЬ СТЕКЛА:

— Ну, а как насчет второго урожая картофеля?

— Да как, обыкновенно. Посадишь, вырастет, подкопаешь куст сбоку, выберешь крупные клубни, которые уж созрели, тут же польешь подкопанную ямку, подсыплешь туда же подкормку, либо биологическую — навоз, либо химическую — суперфосфат и другое. Ну, зарываешь, окучиваешь куст. А в кусте-то, как показывает опыт, образуются новые завязи до восьмидесяти штук на куст. В тысяча девятьсот сорок втором году, несмотря на позднюю подкормку, план сбора картофеля перевыполнили. А теперь, чтоб раньше собрать первый урожай, будем садить по утепленной почве: при посадке, наряду с удобрением, подкладываем под посадочную картофелину навоз, он и держит повышенную температуру, пока солнце не согреет всю землю.

Объяснявшая колхозница замолчала и поправила платок на голове, потом вздохнула: у нее убит муж на фронте.

Антон Иванович доволен своими ученицами. Но его уже осаждают другие мысли, про-

екты, начинания, опыты. Вот установлено: в Каширском районе по климатическим, почвенным, метеорологическим и другим условиям нельзя сеять ячмень. А ячмень, смешанный с овсом — прекрасный корм. «Как это нельзя сеять!» С этих пор Антон Иванович не знал ни покоя, ни отдыха, не видел ни людей, ни обстановки. Одержимый! С карандашиком и бумажкой все подсчитывал. И задачу решил вдвойне. Он посеял ячмень в смеси с овсом. Овес посеял чуть-чуть раньше, так что, когда овес созрел, он был выше ячменя на два-три сантиметра и тенью своего колоса покрывал колос ячменя, не давая ему окостенеть и ломаться и сваливаться при уборке. И теперь получает отличные урожаи ячменя с овсом, которые при уборке комбайном смешиваются.

Антон Иванович ходит с невидящими, куда-то устремленными сквозь очки глазами. «Ну, ладно, картофель у нас с двумя урожаями, на полях — отличный урожай. Ну, а дальше что? А дальше... дальше урожай должен быть еще великолепнее. Что же сделать? Да ведь...»

Антон Иванович мчится к начальнику политотдела, и очки у него скачут по носу.

— Николай Сергеевич, слушайте: что могли, мы все сделали, ну, а про организацию труда забыли. Нужно осуществить звеньевую систему. Звено — вот основная ячейка труда. И у нас надо. Как же иначе? Так везде.

Как бы ни были творчески заряжены работники совхоза, никогда их творческая работа не слилась бы в один общий поток, если бы отсутствовала направляющая, объединяющая все их усилия рука. В совхозе есть такая рука, это — Николай Сергеевич Филатов, начальник политотдела, мягкий, ласковый, но с железной рукой. Он непрерывно следит за каждым работником и работницей совхоза, следит за свинарником, за огородом, за пчелами, за садом, за полеводством, за развлечениями, за бытом рабочих, за их политическим ростом, за их творческим ростом. Он, как опытный дирижер, ведет оркестр совхозной жизни, работы, совхозного творчества, и оркестр звучит согласованно и могуче. Он не упускает ни одной возможности, чтоб не поднять в той или иной форме работы в совхозе.

Но кто же изумительно быстро восстановил этот великолепный свиноводческий совхоз, разрушенный немцами? Женщины... Десяносто процентов рабочего состава в совхозе — женщины. Это они творчески работают, непрерывно подтверждая свою работу опытом. Кто же они, эти не покладаящие рук работницы? Это — веселые, смеющиеся, румяные, брызжущие радостью жизни девчата. Это — жены рабочих, которые на фронте. Это — пожилые домохозяйки; это — вдовы; это — старухи, не уступающие молодым в работе, а часто они и учат молодых и делятся своим опытом с молодежью.

И как глянешь, везде по совхозу озабоченно мелькают платочки, и редко-редко встретишь черный картуз. И все результаты своего труда они отдают Красной Армии.

Да разве работницы совхоза «Зендиково» одиноки? Вся страна, вся родная страна полна могучего творчества. Это она родила Красную Армию, полную громадного творческого напряжения в этой страшной борьбе, неповторимого ни в одной стране мира. Это она, родимая страна, ломает и ломает окончательно-

но хребет подлому, залившемуся кровью врагу.

Совхоз «Зендиково» — маленький, затерявшийся в необъятных просторах страны светоч, но свет его творчества сливается с озаренно-бушующим океаном творчества всей социалистической страны.

За прекрасную работу по восстановлению хозяйства коллектив совхоза получил Красное знамя Государственного Комитета Оборона и первую премию — незабываемая награда.

# ЮНАЯ АРМИЯ[5]

Курмаяров идет по большаку. Шаг в шаг поскрипывает снег. Сумерки тихонько садятся на придорожные кусты, на чернеющие деревья. Одна за одной зажигаются морозные звезды, робко моргая.

Большак круто перегибается в глубокий овраг, на мост. Там тоже смутно белеют снега. Оттуда доносятся голоса, ребячий смех. Курмаяров подошел, присел на ствол срубленного дерева. Говор и смех стихли. Ребята стояли молча, искоса поглядывая на него. Вокруг в беспорядке стояли пустые салазки. Ребятам — от одиннадцати до четырнадцати лет, мальчики и девочки.

После некоторой паузы один сказал:

— Думал, думал я и удумал: подстрелить фрица из пистолета нельзя — услышат, сбегутся, вот тебе и карачун, а...

— Да где ты пистолет возьмешь! — с азартом прокричал самый маленький, размахивая руками.

— Фу, да у дяди Вани скрал бы! Да слышать выстрел, и на морозе порохом воняет.

— Как же ты сделал?

— Я-то? Обманом взял. Сделал сагайдак, приготовил три стрелки, а в конец воткнул по гвоздю, конец остро заточил. Потом пошел искать место. В овраге у самого обрыва — старая верба, а в ней здоровое дупло, как ворота... Ну, я.

— Знаем, знаем! — закричал маленький, оборачивая по очереди к товарищам разруганное на морозе лицо.

— Знаем! Ну? — дружно откликнулись мальчишки и девочки.

Историю с сагайдаком они слышали раз двадцать, но каждый раз выслушивали как новую.

— ...а возле вербы тропочка — к колодезю в овраг фрицы за водой ходят. А вербу всю с дуплом, почитай по самые сучья, здоровенным, с избу, сугробом завалило...

— Знаем, знаем! — опять радостно закричал маленький.

— Ты-то чего кричишь! Глухие, что ль!.. Ну, рассказывай!

— Ну, я гляжу: ежели полезу напрямик к вербе, разворочу сугроб, видать будет — кто-

то лез. Зачнут стрелять по вербе. Я по тропочке прошел на другую сторону обрыва да с обрыва и сиганул в овраг. А в овраге ветром намело снегу — лошадь утонет. А я по дну под снегом-то поперек оврага ползу до самой до вербы. В рот, в нос, за шиворот набилось снегу, за рубахой, аж дрожишь. Ну, руку просунешь в сугроб, дырку сделаешь в снегу и смотришь: тропочка-то, по которой ходят фрицы, вот она, под самым носом, а меня не видать, а снег-то сверху ровный, нетронутый, никто и не догадается. Просидел так часа два, глядь в дыру — фриц идет в маминой кацавейке да в соломенной обуви.

— Эрзац называется.

— ...а на голове мамин платок...

— Ни мужик, ни баба!

Все захохотали.

— Ну, я тихонечко просунул конец сагайдака в дыру, навел ему в глаз да спустил тетиву...

Охнули все...

— Промахнулся?..

— Ды он, сатана, как раз повернул голову, высморкаться хотел, а стрела прямо ему в нос



гвоздем. Он аж подскочил! Тронул нос, а на пальцах кровь. Как заревет бугаем и пустился назад, ведро бросил, за нос держится.

Хотя и в двадцатый раз слышали все это ребята, но громко хохотали. Девчонки визжали в восторге.

— Прибежал фриц назад, а за ним пять фрицев с автоматами. Глянули, а на этой стороне, где я из кустов сиганул в снег — весь снег взбудоражил кто-то, и начали стрелять из автоматов по кустам на тот край оврага, и только я слышу: «Партизан!» «Партизан!» А у этого, в которого я стрелял, на носу пластырь наклеен.

Все опять радостно захохотали, захлопали в ладоши. Потом замолчали.

Стояла ночь, и звезды лучились, и снега неузнаваемо и слабо белели.

К Курмаярову подошел мальчик постарше и спросил юношески ломающимся голосом:

— Ты куда идешь, гражданин?

Ребята толпой обступили.

— А тебе что?

— А то, неизвестных надо ловить и доставлять.

— А тебя кто уполномочил?

— Документы у тебя есть?

— Есть.

— Покажи!

— Вот приду в деревню, кому следует — покажу.

— А ты в какую деревню идешь?

— В Овражную.

— Да это наша деревня!..

— Вот и хорошо.

— Ну, пойдем, гражданин.

Они взяли веревочки от салазок и пошли, тесно окружая Курмаярова, осторожно поглядывая на него, волоча за собой салазки.

«Вот странное положение, — радостно подумал Курмаяров, — ребяташки меня арестовали, никогда бы этого себе не представили, — и так же радостно прятал улыбку в усы.

— Вы, что же, всех так арестовываете, кто идет по дороге?

— Зачем всех? — сказал старший. — По дороге ходят из нашей же деревни либо из соседских, а мы всех их знаем. А как незнакомый, да чужой, да еще ночью — тут уж держи ухо востро.

Некоторое время лишь скрипели по снегу шаги и салазки повизгивали на раскатанных местах. Ребятишки все так же тесно шли кругом, поглядывая на Курмаярова.

— Ну, как же вы караулите? Чай, храпите ночью — ходи кто хочет!

— Ишь ты, на-кась выкуси! — протянул старший кукиш. — Караулы ставим. Ночью — возле нашей деревни в овраге, на мосту, его не обойдешь, а днем — в лесу возле поляны.

— Почему такая разница ночью и днем?

— Как же? Ночью с парашютом не спустишься на поляну: не видать с самолета, одинаково темно и над лесом, и над поляной. Сядешь в черноте и на сосну, а сосны у нас высокие и снизу стоят без веток, по ним и не слезешь — убьешься. Вот они только днем...

Ребятишки возбужденно закричали всей толпой, размахивая руками:

— Они спустились, а мы их поймали.

— Да били дубинками, — звонким голосом закричал торопливо маленький, боясь, что его перебьют.

— Одному голову разбили, а другому глаз.

— А он скривел! — закричали девочки.

— А они закопали в снег парашюты и автоматы, которые на шее были подвешены, чтоб не знали, что они спустились.

— Куда же вы их дели? — спросил Курмаяров.

Ребята опять дружно закричали:

— А мы их связали и в сельсовет представили. А у них пистолеты оказались и шашки для взрывов. Они бы нас застрелили.

— А они одеты по-нашенски и говорят по-русски.

Дети вдруг замолчали и шли, глядя в темноту. Поскрипывали шаги. Звезды слабо брезжили, и оттого, что слабо, мрачно чернели остовы труб и разрушенных печей: домов не было. И почему-то особенно гнетуще было то, что и снег кругом мертво проступал, как уголь, и деревья чернели обугленно.

— Вот наша деревня, — тихо сказал самый маленький.

И Курмаяров спросил то, о чем не решался спросить раньше:

— Дом против школы уцелел?

Ребятишки дружно ответили:

— Это Марфы Петровны-то? Нет... И печей

не осталось.

— Марфу Петровну повесили, а дочку ее в Германию угнали.

Курмаяров шагал, опустив голову. И ребята, глядя исподлобья, шли молча, будто среди могил чернеющего кругом кладбища.

Один из них показал на огонек:

— Вот наша школа.

Среди кладбищенского покоя сторевших жилищ вдруг приветливо мигнул огонек. Курмаяров вздохнул.

— Пойдем туда, — сказал старший. — Ишь, поганцы, маскировку не соблюдают!

И, помолчав, опять сказал:

— У нас на всю деревню один дом остался, в нем и школа и сельсовет, остальное все сожгли. А этот, как наши бойцы ворвались, не дали.

— Как же вы живете? — спросил Курмаяров. — Холодно же...

— Так строится народ, шибко строится — двенадцатый дом кончаем, всем колхозом строим, коллективно, оттого и спорится. А из колхозов, которые за рекой, — их немцы не занимали — трех коров пригнали и помогают

строить... Ну, вот и пришли...

Девчата юрко взобрались по лестнице, а ребята строго оцепили вход вниз. Курмаяров подумал: „Молодцы ребяташки, боятся, как бы их „гражданин“ не смылся за угол“.

Вошли. Подслеповато курилась жестяная лампочка, а когда-то деревня освещалась электричеством. В холодном, застоявшемся воздухе плавал вонючий махорочный дым. Человек в ушанке, нагнув голову, с трудом писал на кухонном столе. Ребяташки привалились к столу, а двое остались у двери, притянув ее потуже.

— Ну, что? — сказал человек в ушанке, не поднимая головы.

Ребята гурьбой прокричали:

— Вот гражданина на мосту словили, по дорогам ночью блукает...

— Документы? — сказал человек, все так же не поднимая головы.

— Да то-то вот, не хочет показывать документов! — закричали ребята.

— Документы! — сказал тем же ровным голосом человек в ушанке, опять не поднимая головы.

В вонючем махорочном дыму — молчание. Ребятишки стояли плотно кругом, каждую минуту готовые схватить Курмаярова за руки. Человек в ушанке наконец поднял голову и остолбенел. Запинаясь, сказал:

— Да... это... вы! А мы вас ждали на машине, все прислушивались, нам по телефону сказали со станции.

Ребятишки стояли с открытыми ртами. Человек в ушанке засуетился:

— Сейчас всех соберем, все ждут. Я вас сразу узнал по портретам в газете и в ваших сочинениях. А вы садитесь, пожалуйста.

Курмаяров сел и увидел, что у человека в ушанке одна нога, а вместо другой — деревяшка.

— Ребята, это наш земляк, известный писатель, которого мы ждали.

— Ой! — всплеснула руками девочка. — А я думала: известные писатели — молодые.

Ребята испуганно загалдели:

— А мы его арестовали! Смотрим, своими ногами идет ночью по дороге. А известные писатели разве ходят? Они ездят на машине! А мы хотели сзади потихоньку зайти, пова-

лить на салазки, прикрутить веревкой да привезть в сельсовет, а то, думаем, как начнет палить в нас из пистолета.

— Вот еще растрепы-то! — сердито сказал в ушанке.

— Да ведь ночь, а на морде не написано, кто он такой, — конфузливо оправдывались ребята.

Курмаяров слегка улыбнулся.

— Известные писатели непременно должны на машине ездить. И я ехал со станции. А машина сломалась. Не хотелось мне ждать, я и пошел своими ногами. Родные места поглядеть захотел...

Ребятишки облегченно засмеялись и захлопали в ладоши.

— Ну, вот что, — сказал человек в ушанке, — гоните, всех собирайте, чтоб сейчас, минуты чтоб не упустили.

Ребят как ветром сдунуло.

— Ну, я в суматохе забыл вам представиться: я — новый председатель сельсовета. У нас работают все раненые бойцы из нашей деревни. Председатель колхоза — ему челюсть раздробило. Кушать может, а чтоб говорить, так



на бумажке пишет.

Через двадцать минут большой школьный зал был до отказа забит колхозницами, школьниками и несколькими мужчинами: поправляющиеся раненые, старики и инвалиды.

Молоденькая комсомолка, с милыми конопатинками, открыла собрание:

— Товарищи, к нам приехал известный писатель, уроженец нашей деревни. Он приехал к нам...

— Пришел своими ногами, — дружно поправили ребята.

— Он еще мальчиком в царское время уехал из родной деревни учиться в Москву и с тех пор не был в родных, местах, а теперь приехал... навестить родину...

— Пришел своими ногами... — опять упрямо зашумели ребятишки и девчата.

— Не хулиганить! — заревел председатель сельсовета.

— Слово нашему дорогому гостю, писателю Курмаярову.

Курмаяров оглядел всех потеплевшими глазами и обычным голосом сказал:

— Читали вы, товарищи, Тургенева „Бежин луг“?

Все удивленно молчали, переглядываясь.

— Помните ребят в ночном: они стерегли лошадей, а Тургенев подошел — на охоте был, — подошел и слушал их. Чудесные ребята! Но разве их сравнить с теперешними? Те про антихриста рассказывали друг другу, а наши влились в громадную борьбу народов.

Ребятишки с загоревшимися глазами закричали:

— Да мы на все поля вывезли на салазках навоз, золу, птичий помет, фекалии, устраивали снегозадержание. Урожай во какой будет!

Пожилая женщина подала голос:

— Да как им, ребятам, не быть нынешними! Замучил зверь-немец! У ме... ня сы...сын...нок...

Она зарыдала.

— Мама, мама!.. Пстой!.. Я им лучше прочту.

Тоненькая школьница шестого класса поднялась в президиум, достала измятое письмо и стала читать:

„...Мамочка, дорогая моя. Я тут много работаю, а ем меньше, чем даже в Курске, когда там с тобой под немцем были. Нас двое: Ване тоже четырнадцать лет, он с Украины. Один преподаватель собрался отсюда бежать, он отлично знает немецкий язык. Я отдал ему это письмо, не знаю, дойдет ли. Мамочка, я теперь тебе уже не кормилец. Хозяйка фермы, когда узнала, что ее муж убит на Восточном фронте, схватила топор и отрубил Ване руку, потом кинулась ко мне и выколола вилкой правый глаз...“

Девочка захлебнулась, слезы бисером покатились по ватнику. Пожилую женщину понесли на воздух.

— Да ведь что же это такое! — охнул зал задыхаясь. — Силосную яму у нас немцы всю набили мертвяками.

Курмаяров опустил голову. У всех одно большое горе — горя реченька бездонная! Глухо сказал:

— Спешил сюда... Матушку, сестренку обнять... — и чуть слышно добавил: — Обоих нет...

Из зала донесся голос:

— Матушку вашу, Марфу Петровну, замучили, а Ньюшу увезли, ироды...

— И у меня мать загубили...

— И у меня...

— А у меня сы-ы-ночка...

— Доченьку мою...

— У меня брата...

И вдруг все вскочили, все ринулись, валя скамейки, к президиуму. И голоса всех слились в один потрясающий голос мести и страстной, исступленной веры в победу.

— Будем работать, аж вытянем жилы! Будем работать, пока силы есть. Почитай мы тут одни женщины и ребята — мужики на войну ушли, — но мы все сделаем! Мы перервем глотку врагу!

...Курмаяров ехал на починенной машине и в темноте разглядел то, чего не видел, когда шел сюда: двенадцать новых домов и среди них один неоконченный сруб на почерневшем родном пепелище.

## НА ХУТОРЕ [6]

Немцы заняли хутор. Он лежал в бескрайней степи возле глубокого, густо заросшего оврага. По дну, сквозь заросли, извилисто сверкал ручеек.

Хутор начисто был разграблен. Сопrotивляющихся и «подозрительных» расстреляли. Скот собрали для отгона на железную дорогу, а там — в Германию. Девушек и молодых женщин согнали в школу для солдат. Двух самых молоденьких — одной шестнадцать, другой пятнадцать лет — повели к офицеру. Шестнадцатилетняя — черноглазая, нос с горбинкой, вырезанные ноздри — отчаянно сопротивлялась, царапалась, кусалась — ей связали руки. Она ни за что не хотела идти, падала, тащилась — солдаты озлобленно понесли на руках.

Маленькая шла с остановившимися, по-детски голубыми глазами. Нежное личико просило пощады.

Их доставили к хорошему куреню на краю оврага. Вышел офицер, холодно глянул, кивнул, ушел. Старшая девушка, с ненавистью

оглядываясь, как волчонок в тенетах, старалась незаметно развязать себе руки.

Офицер ушел в горницу, побрился, вытерся одеколоном, тщательно сделал пробор в рыжих волосах, посмотрел в походное зеркало, закурил сигару. Походил по комнате. Подошел к окну, прислушался: будто далекие, ослабленные расстоянием выстрелы? Еще прислушался — ничего.

Это был боевой, считавшийся храбрым, немецкий офицер. Когда шли в атаку широкой цепью, он шел позади и стрелял в солдат, если они начинали отставать, а стрелок он был отличный. Перед ним шла вторая шеренга, но коротенькая — она прикрывала его. Ему везло: до сих пор и ранен не был.

Офицер позвонил в походный пружинный звонок. В горницу вскочил денщик, вытянулся и покорно уставился собачьими глазами. Офицер молча сделал знак. Денщик покрыл стол маленькой вышитой скатеркой, достал из погребца вина, закусок, аккуратно расставил и исчез. Около крыльца началась борьба: шестнадцатилетняя отбивалась, как могла, плевала в лицо, била ногами, кусалась. Солда-

ты внесли ее в горницу и вышли. В горнице началась снова борьба.

Взбешенный голос офицера:

— О, русский девка!.. Шволочь!

Пистолетный выстрел... Все успокоилось. Денщики насторожились. Звонок. Солдат кинулся и через минуту выволок за ноги оголенную девушку. Когда тащил, голова мертвой билась по ступеням, разбрызгивая кровь.

Девочка с остановившимися, по-детски синими глазами прошелестела «Ма-а-ма!..» — и стала дышать коротко, поверхностным дыханием, а по лицу потекла бледность смерти. Ее повели в комнату.

— Мама!..

Денщик дотянул мертвую до оврага и сбросил с обрыва. Тело, желтея, скатилось в заросли. Зашелестели листья, закачались ветви. Денщик побежал к крыльцу, вытирая пот со лба. Его товарищ уже принес ведро воды. Оба засучили рукава и стали чистой тряпкой быстро и умело смывать со ступеней кровь. Потом так же расторопно подмели перед крыльцом и тщательно посыпали песком.

Уже гораздо ближе посыпались за куреня-

ми винтовочные выстрелы, и сыпались с перерывами очереди пулемета. Денщик глянул и обомлел: его товарищ бешено неся к машине. С искаженным лицом, поминутно озираясь, шофер заводил машину, и, когда мотор заработал, оба вскочили в машину, и она понеслась, оставляя длинный крутящийся хвост пыли. А опоздавший все бежал и бежал...

Где-то далеко-далеко, точно в тумане, слабо отпечатались последние выстрелы, и все стихло.

Офицер крикнул из комнаты:

— Генрих!

Молчание. Офицер вышел на крыльцо с злыми глазами и сразу осекся — никого! Но страшнее всего — не было машины. Быстро и гибко, как мальчик, офицер спрыгнул с крыльца и побежал за угол. «Да, машины нет». Лишь от того места, где она стояла, круто загибаясь, побежал по улице рябой, как змеиная чешуя, след от шин.

Он бросился к оврагу, а оттуда подымался, трудно опираясь на заступ, высокий старик с изрезанным темными морщинами лицом. Старик подошел, остановился — никак не от-



дышится. Офицер бросился к нему, протянул руки:

— Спасайте меня! Спасайте... Я много денег отдам... много... много... Я тебя буду спасать... немцы опять придут... Немец всегда назад, когда уйдет, опять придет... я тебя буду спасать, а теперь ты меня прятайт... Много денег тебе... Много денег...

Опять вдали отпечатались выстрелы и погасли.

— Спасайте меня!.. Прятайт меня!..

Старик стал задом отступать. Офицер в ужасе кинулся к его ногам, охватил его колени и, глядя снизу по-собачьи, как в бреду, повторял:

— Спасайте... спасайте меня... прятайт...

Старик, с трудом отдирая ноги от его рук, все пятился. А тот тянулся по земле и в самозабвении, с пробивающейся ноткой звериного озлобления шипел:

— Спасайте... прятайт... золото... все... все отдам.

Старик вырвал ногу.

— Уйди, сучий сын, пусти!..

Тот схватился за другую:

— Забирайт... забирайт все!..

Дернул за шелковый шнурок висевшего на поясе небольшого замшевого мешочка, и оттуда потекло струйкой золото. Все так же вцепившись в дедову ногу одной рукой, другой судорожно срывал с себя знаки офицерского отличия. Он неотступно тащился за стариком длинно вытянутой рукой, вцепившейся в дедову ногу, а по пыли извилисто обозначилась тоненькая желтеющая золотая дорожка.

Темные морщины деда стали пергаментными. С неожиданной силой дед с маху развалил ему заступом череп. Мозг вывалился на дорожную пыль, и она быстро стала впитывать оплывавшую кровь. Из-за угла выскочили наши бойцы. Остановились около деда. Офицер все так же лежал лицом в пыли, протянув по земле руку к деду.

— Кто его?

— Я.

Командир показал ногой:

— Это что?

— Его. Купить хотел.

— Ты где прятался?

— В буераке. Бабы сдавна глину брали, вы-

рыли в стенке глубокую нору, ну, туда залез. Был там двое суток, ночью за водой выползал. Нонче тихо стало, постреливают, да где-то далече. Вышел, а он выскочил из горницы, глаза вылезли, как у рака, упал на коленки, обхватил мне ноги и давай чирики рваные на мне целовать — никак ноги от него не отдеру. А как вытащил золота, тычет мне, не пускает, дюже обрыл — я развалил ему голову.

Постояло молчание.

— В овраге много народу прячется?

— Есть. Ды теперь вылазиють.

Командир обернулся к бойцам:

— Человек шесть в оба конца оврага пройдите, может, где немцы укрылись. Настороже будьте. А наши пусть вылезают — отогнали.

— А с этим что делать?

Боец кивнул головой. Немецкий офицер все так же лежал лицом в пыли с протянутой по земле рукой.

— Смешнов и Карпухин, подберите золото, перепишите, заверните в бумагу и в сумочку с остальным золотом — в штаб. Расписку возьмете, мне принесете.

Два бойца разостлали газету, стали соби-

рать золото и, сдувая пыль, осторожно клали на бумагу. Тут были и царские червонцы, и старинные серьги, и брошки в алмазах, и браслеты, и лом золотых часов, перстни, особенно много обручальных колец, некоторые в черной засохшей крови — с пальцами рубили, лом золотых зубов.

Все это завернули в бумагу, засунули в замшевый мешочек и опять в бумагу.

Дед и бойцы хмуро глядели на овраг, отвернувшись от лежащего офицера с протянутой рукой.

— Вот что, старина!.. Теперь зарыть надо. Закопай его.

Старик в судороге передернулся.

— Да ни в жисть!..

— Как это так?

— Ды так...

— Ведь это — зараза! Тут и бойцы, и колхозники, и дети, всякие болезни могут...

— Мы понимаем... Ну только не буду закапывать. Не нудь ты меня, товарищ командир, как гляну на него, воротит из души. Не боюсь я мертвяков, а как гляну, лезут кишки в горло. Бывалыча, скотина падала в старые годы

от сибирки, когда еще Советская власть не приходила, дохла скотина. Так, бывалыча, за-сучишь рукава, выкопаешь яму в овраге, ухватишь за ноги, за рога и в овраг тягаешь... А ведь сибирка, она и на человека прилипчивая — так энта, животная, понимаешь ее, а энтого не могу, ну вот как перед истинным... Не нудь ты меня, товарищ командир, не нудь. Гляну на него, а кишки лезут к горлу, вот-вот выблюю. Что ты будешь делать!.. — развел он руками.

Командир повернулся к бойцам:

— Двое стащите офицера в овраг. Вырыть поглубже, потуже затоптать.

Боец сбегал во двор, выдернул длинную слегу. Другой срезал в овраге сук, привязал к слеге, зацепили этим крюком мертвеца и поволокли, не дотрагиваясь и не глядя на него.

А из оврага подымались женщины, старики, дети. Они окружали бойцов, навзрыд плакали, прижимали к груди, не могли оторваться.

— Родные вы наши, близкие, сердце свое вам бы отдали, жизнь вы нам опять принесли...

Ребятишки гладили у бойцов автоматы:

— Много убили немцев?

— Хоть бы раз выстрелить в немца!..

— Ему в пузо надо стрелять, а то промахнешься...

— Вот дуреха. А дед заступом и то надвое немецкую башку раскрыл.

— Ничего, ничего, ребята, успеете. Ну-ка, пропустите.

Четыре бойца несли мертвую девушку, завернутую в одеяло. Возле девушки-ребенка, держа ее маленькую холодную руку, шла худая бледная женщина. Она не плакала, она только говорила:

— Дитяtko мое ненаглядное, зернушко мое золотое, чего же ты молчишь! Думала ли я, такая твоя будет жизнь, такая будет мука?.. Все думала — счастье будет в твоей жизни, а вот смерть пришла, не успела ты и доучиться в школе. Доктор все говорил: сердце твое слабое, надо беречь тебя, а как подрастешь, поправишься. Я сберегла тебя как глаз свой, а вот пришли лютые, все съели и тебя съели... а я... а я... плакать не могу... в две жизни не выплачешь...

Женщины поминутно вытирали слезы. Бойцы мрачно смотрели перед собой. Листья тихо шелестели в овраге. Извилисто поблескивал ручей в глубине.

— Пойдите, вот мой курень, — сказала мать. Лицо ее было смугло, как у дочери, и нос горбинкой, как у дочери.

Все остановились.

— Похороните мою доченьку. Тут бабка ее живет, моя мать. А я уйду, уйду к партизанам. Прощай, доченька, прощай! Не пришлось нам с тобой пожить...

Она поцеловала ее холодные губы и пошла, не оглядываясь, да остановилась.

— А вы что, как теляты, стоите, немцев, что ли, дожидаетесь, чтоб глумляться стали над вашими детьми?! Ишь глаза набрякли у всех, только и знаете реветь...

— Чего же делать-то? — всхлипывая, говорили женщины.

— Как, чего делать? Кто не может к партизанам, идите в тыл, будете мыть белье, чинить одежду бойцам, ступайте в санитарки. Эх, квелые!..

Она пошла, шагая по-мужски. И лицо,

смуглое, как у дочери, еще больше потемнело.

Далеко, далеко за сизым краем степным слышалось ослабленное орудийное уханье. Фронт передвинулся далеко.



# Примечания

Впервые — «Литературная газета», 1941, 13 июля.

[^^^]

## 2

Впервые — газ. «Правда», 1942, 17 сентября.  
Очерк точно воспроизводит подлинный эпизод из жизни писателя.

[^^^]

# 3

Впервые — газ. «Красная звезда», 1943, 14 января.

[^^^]

# 4

Впервые — газ. «Известия», 1943, 3 марта

[^^^]

# 5

Впервые, под заглавием «Ребята», — журн.  
«Красноармеец», 1943, № 11.

[^^^]

# 6

Впервые — газ. «Красная звезда», 1943, 14 августа.

[^^^]